П. Крючкову

Сосны тёмным полукругом. Снег. Звезда в семнадцать ватт. Ослик вздрагивает, руган. Ослик вечно виноват. Не избегнуть колотушек. Соль в ресницах. Боль в заду. Но не он, слетев с катушек, прикрутил в ночи звезду. Нет, не он в дурную среду проложил следов курсив, чтоб сарай спалить соседу, провода перекусив. И не он, почуяв запах крови, пороха, бухла, в бойню вверг восток и запад приграничного села. Но ушастому не внове подставлять бока, и на хоровое: кто виновен? — отвечать: иа, иа, под ночным топча обстрелом глины мёрзлую халву, видя мир большим и белым сквозь пробоину в хлеву.

Всё-таки — юг с опрятным его платаном, кислым кизилом всюду и задарма, чайкой картавой, рынка нытьём гортанным, душным баштаном и пахлавой холма.

Всё-таки — юг с туземною тягой к цацкам, блажью пустой: в тебя затолкать еду; мот и бахвал, что всё именует «царским»: бухту, тропу и ужин в ночном саду.

Сводник, понтер с тоской в маслянистом оке, всем — собутыльник и никому не друг; бог караоке, мастер базарной склоки, в пыльных вьетнамках джокер. И всё же — юг.

Солончаков злопамятный Монте-Кристо, вкрадчив, ленив, а хрена его нагнёшь. Долго пасёт, зато убивает быстро, всякому дулу предпочитая нож.

ШЕСТВИЕ

Если тебе велят — влево, а ты направо топаешь в аккурат, — не сомневайся, брат, это ещё не слава и не свобода, брат.

Правду ори свою рэпом или былинным слогом, но посмотри: ты всё равно в строю, непоправимо длинном, ровного рва внутри.

Вот и гадай, как лох: пафос, а может, лепет? Прятаться или сметь? Гиппиус или Блок? Быков или Прилепин? Родина или смерть?

Вверить спешат толпу ратники и сиротки — всяк своему божку. Хуже всего тому, кто семенит в серёдке, в плечи втянув башку. С кем ты, — спеша, скользя? — мне за тебя тревожно. В тот ли вписался ряд? Притормозить нельзя. Выбраться невозможно. Разве что — в небо, брат.

Говорит приёмыш, пасынок, лишний рот: «Ладно, я — урод, нахлебник, дурное семя, но сарай твой скрёб и вскапывал огород, а когда повальный, помнишь, был недород, я баланду хлебал со всеми.

Я слепым щеглом в твои залетал силки, на твоём крючке висел лупоглазым карпом. А когда по рёбрам били твои сынки, я в ментовку на них не капал.

Кто тебя тащил, когда ты была пьяна, избавлял от вшей, от пуль заслонял спиною? Что же ты меня выталкиваешь, страна, и отхаркиваешься мною?»

А она в ответ: «Ты воду, манкурт, вари из другой страны, что, пасынкам потакая, согласится слушать все эти: «твой», «твои», не кривясь брезгливо. Что ты застыл? Вали, если есть на земле такая».

Проводив глазами рыкнувший автозак, накидав предъяв тому, отфутболив эту, он зарыл смартфон вражды, он собрал рюкзак и направил стопы к Тибету.

И теперь сидит в простецких своих штанах, взор вперяя детский в точку счастья сразу в нескольких временах, ни одну заразу не посылая нах, ибо есть он монах тибетский.

И покуда мы звонками из-под земли о дружке пропавшем тщетно наводим справки, он глядит с высот на красные ковыли, на лазурные горечавки,

повернув ладони так, чтоб не вытекал золотой, тягучий свет из сухого тела, сам себе отныне Мекка и Ватикан, высь и бездна, творец и тема.

Но толпе зевак, толкующих под горой то о тайной мантре, то о двухчастной карме, виден снизу лишь заштрихованный мошкарой контур на закопченном камне.